## В хитром домике над ручьем

# Сергей Снегов

Не так уж много мне потребовалось времени, чтобы установить, что слухи о всевластии уголовников в первом лаготделении преувеличены. «Своих в доску» в этом отделении было, конечно, больше, чем в других лагерных зонах. Возможно, их здесь намеренно концентрировали, чтобы легче контролировать их действия, а также чтобы, разделенные на шайки «авторитетных паханов», они больше погружались в сведение личных счетов, чем сколачивались на коллективный разбой. Это было опасно даже при наличии многочисленной охраны и километровых «типовых заборов», то есть двойных рядов колючей проволоки. Если и было у начальства такое хитрое намерение, то оно успешно осуществилось. Уголовники делились на две обособленные касты — честноков и сук. Честноки или «воры в законе» составляли клан истинных или честных воров. Я не раз слышал это забавное сочетание «честный вор» от моего соседа Сеньки Штопора, он числил себя в этой блатной знати. Главной особенностью «честных воров» было то, что они не вступали в служебные связи с лагерной администрацией — работали на общих и специальных работах, кто как умел и кто на что годился, но в «лагерные придурки» — на должности конторщиков, бригадиров, каптеров, нарядчиков и комендантов — не шли, сохраняя независимость от местного начальства. «Своими не командую, прошу по-человечески, ничего, слушаются» — так скромно описывал свое назначение мой первый сосед в третьем бараке первого лаготделения, дядя Костя, пожилой пахан, в прошлом славный медвежатник, потрошитель многих сейфов с хитроумными запорами, а ныне слесарь-лекальщик ремонтно-механического завода. И доложу вам, слушались дядю Костю все уголовники куда исполнительней, чем новобранцы в армии самых ретивых сержантов из старослужащих. Впрочем, дядя Костя не примыкал ни к какому клану и не создавал своего, ибо — так разъяснили мне знающие уголовники — у него специальность высшей воровской квалификации — требует «личного искусства», а не «опоры на массы», по терминологии того времени. В данном случае, естественно, имелись в виду воровские массы — хорошо сбитые воровские шайки.

А кланы существовали даже внутри каст. Таков был маленький клан моего «крестника» — шайкой по голове — Мишки Короля. Таков был клан отчаянного — в смысле убивать «ни за что», не по делу, а по хотению — многократного убийцы Икрама, таков был зловещий коллектив Васьки Крылова. Но главным, конечно, было то, что в лагере, к тому же в любом лагере страны, кроме честноков существовали и суки. Говорят, что в иных ИТЛ командовали честноки, — не знаю. Ни я, ни мои знакомые, переменившие немало мест заключения, таких лагерей не знали. В нашем лагере владычествовали суки — и уверен, что таков был нормальный строй каждого «добропорядочного» лагеря НКВД. Суки — те же уголовники, часто с тем же тяжким клеймом — пятьдесят девятой статьей уголовного кодекса, карающей за бандитизм, — вступали в служебные отношения с лагерной администрацией. Суки командовали заключенными от имени администрации, являлись внутрилагерным костяком — комендантами, нарядчиками, каптерами, писарями... Только в охране им не разрешалось служить, и оружия они не могли иметь, хотя нелегально имели: ножи, заточенные напильники, кистени. Впрочем, и мы, «пятьдесят восьмая», не чурались средств самозащиты. Я с друзьями, к примеру, часто прятал в валенках либо в карманах нож, когда надобилось ночью ходить по промышленной зоне, — вряд ли он мог помочь в схватке с шайкой из трех-четырех бандитов, но душевное спокойствие гарантировал. Короче, на суках держался практически весь лагерь. И если места заключения не превращались периодически в арену кровавых побоищ, а являли собой правильно сконструированный организм, скрепленный жестокой дисциплиной, своеобразной свирепой «техникой безопасности» — в бараках можно было спокойно жить и без страха отдыхать, — то важная доля в службе порядка отводилась именно «ссученным» — комендантам, нарядчикам и многочисленным стукачам, исправно разнюхивавшим, где чем пахнет.

Между прочим, терминология лагеря не всегда адекватно описывала реальные «производственные отношения» воровских каст. Мне долго слышалось в словечках «честноки», «вор в законе» что-то уважительное, хотя в них была лишь попытка самоуважения разбойников и насильников, людей без чести и совести, тех, кого в старину очень точно и емко именовали христопродавцами. В формулах «суки» и «ссученные» я улавливал осуждение, гадливое отстранение от чего-то нечистого. Но сами носители лагерной власти по-иному рассматривали себя. Когда в зоне ТЭЦ честноки ухайдакали какого-то коменданта, он все повторял немеющими губами:

— Скажите нашим... умираю как честный сука... Вряд ли честнок — «честный вор» — по микрограммам содержавшейся в нем общечеловеческой честности чем-либо превосходил такого же «честного суку».

Говорят, самые частые ссоры — семейные, самые долгие распри — коммунальной квартиры, самые беспощадные войны — религиозные. Вражда честноков и сук никогда не затихала, превращаясь порой в поножовщину, — та семейная вражда, которая признавала лишь одно естественное завершение — кровь. После того, как Иван Дурак напустился на Икрама, тот прирезал Дурака, а «Иваново кодло» «запороло ножами» самого Икрама, я спросил у Саши Семафора, старшего коменданта Норильского лагеря, властно поддерживавшего порядок во всех наших лагерных зонах:

— Не понимаю, Саша, зачем в нашу зону из лагеря при ТЭЦ перевели Ивана Дурака? Он же, всем ведомо, враг Икрама. Сколько раз оба клялись друг друга прирезать.

— Именно потому и перевели, что грозились, — ответил Саша Семафор. — Конечно, хотелось, чтобы Иван прирезал Икрама, но это уж кому пощастит. Дурацкие у нас законы, при них без Дураков не обойтись.

— В каком смысле дурацкие, Саша?

— В самом прямом. Взяли и отменили смертную казнь. Это у нас-то, соображаете. После великого раскулачивания дети расстрелянных либо ссыльных отцов... Куда им деться? На всех жизненных дорогах — красные огни. Можете поверить, я эту бражку-лейку хорошо знаю. Вся молодежь «воров в законе» из таких: единственный им путь — в бандиты.

— Среди ваших тоже хватает кулацких сынков.

— Даже больше. Блатной мир — социальные отходы революционных переворотов. Я сам в этом смысле не исключение, если не для протокола... И в такой ситуации отменяем смертную казнь! А что с Икрамами? Они же этим пользуются. Знаете, сколько лет заключения навешано тому же Икраму? Да больше пятисот! А если точно — 525 лет! Каждые два-три месяца судят, каждые два-три месяца он — новое убийство. И новый срок отменяет все прежние — снова 25 лет. Сколько это продолжать? Единственный выход — напустить на такого Икрама духарика из наших. Вы мне не верите?

Я верил Семафору. Он был уголовник интеллигентный, умный и бесстрашный — «духарик» высшей кондиции. Как он один усмирил банду страшного Васьки Крылова, я «видел собственноручно», выражаясь по Бабелю, и об этом еще расскажу. И я хорошо помнил, как бандит из таких, двадцать раз судимых, — фамилии его не помню — равнодушно, вполне по-деловому ответил на какое-то мое замечание: «Ты со мной не ссорься, мне тебя прирезать — всего два месяца нового срока!» Ответ я принял с пониманием — два месяца назад его осудили на очередные двадцать пять лет, и он уже психологически созрел «зарабатывать» новые двадцать пять, отменявшие те, в которых он «отмотал» только два месяца. Лишь когда восстановили опрометчиво отмененную смертную казнь, стало легче и правительству радикально расправляться со своими реальными и выдуманными врагами, и лагерному начальству — поддерживать угодливыми руками сук зыбкое спокойствие в лагерных зонах.

Я долго не знал, что реальная защита от блатных в первом лаготделении — как, впрочем, и во всех остальных — обеспечивается усердными руками тех же блатных, только откликавшихся на кличку «ссученные». И что порядок, создаваемый ими, достаточно прочен. И Мишка Король не добил меня, когда в ярости метался по зоне, отыскивая плохо запомнившегося ему дерзкого фрайерка, и больше ничего у меня не «уводили», после того как сгоряча — для первого знакомства — донага раздели, и на пайку мою не покушались, и спать не мешали, когда после ночной смены я уходил в «дневной похрап». В общем, и с уголовниками жить было можно — полуживотным, чисто физическим существованием. А впоследствии, вглядываясь в лагерное бытие, я с удивлением обнаружил, что и в нашем первом, самом «блатном» лаготделении настоящие уголовники, профессионалы воровского и разбойного промысла, составляют меньшинство — настолько малое меньшинство, что если бы значение лагерников сосчитывалось, как на вахте, по головам, то мало кто вообще бы заметил, что лагерь именуется «блатным». Но в зоне люди числились не по головам, а по нахрапу и ловкости рук. Глотка у настоящего уголовника—духарика или лба — луженая, а руки такие умелые на нечистые ловкости, что следовало лишь поражаться. В лагерном царстве процветала показуха. Глубоко уверен, что она началась в нашей стране именно здесь, в исправительно-трудовом лагере, истинном мире туфты, — и уже отсюда пошла победно шествовать вширь и вглубь.

И не прошло много времени, как я — и с немалым удивлением — обнаружил, что даже в нашем третьем бараке уголовники берут лишь ором и матом, но не числом. И здесь преобладали бытовики и мы, «пятьдесят восьмая». И чем дальше шло, тем это явственней виделось среди блатного лицедейства, среди того непрерывного спектакля, какому в бараках предавались, и какой с увлечением разыгрывали сявки и шестерки, суки и честноки, духарики и лбы, важные «авторитетные воры» и солидные пожилые паханы — в общем, красочный и шумный мир всяческих «своих в доску». С началом войны и внешне лагерь поменял обличье. С принципиальными отказчиками, открыто презиравшими любой труд, управлялись быстро и жестоко — фронт требовал реального труда, даже по-старому «заряжать туфту» становилось трудней, а уж дерзко отлынивать от работы!.. Формально любой лагерник мог не трудиться и получать, оставаясь в бараке, «гарантию» — паек тюремного заключенного. Но реально это было равносильно рытью себе могилы: никакая «гарантия» не гарантировала, что лагерное начальство вытерпит такое безобразие. Бытовиков с небольшими сроками и мелкое ворье досрочно освобождали и отправляли на фронт. Воровская знать притихала и пригибала плечи — и в лагере кончалось былое приволье: надо было работать, все силы отдавать работе, фронт требовал никеля, военного металла, без него не отлить танковой брони, пушечных стволов — «диверсанты, шпионы, вредители, террористы» трудились усердней и лучше любого из «своих в доску», и прочих воровских «друзей народа» — лагерное начальство быстро сообразило, на кого, не афишируя это и не признаваясь в том, надо ставить. Один знакомый уголовник — из умных — сказал моему собригаднику химику Яну Дацису, человеку злому и непредсказуемому в поступках:

— Врезал бы тебе в хавало, да нельзя: подымешь хай, что нарочно увечу, чтобы не дать идти на работу. Еще пришьют вредительство. Живи, пока война!

Вот такие были внешние обстоятельства моего бытия в третьем бараке, когда, вернувшись вечером с работы, я обнаружил на соседней койке вместо увезенного куда-то Провоторова нового заключенного.

— Козырев, — сказал он, протягивая руку. — Николай Козырев. Переведен в Норильск из Дудинки, там работал в порту.

К нам, подлетел дневальный барака Николай Рокин.

— Сергей, новенького подселил специально. Он попросил, чтобы сосед был из ваших. С обоих по поллитра. По случаю войны согласен на замену: пятьдесят граммов спирта или одну пачку махорки с каждого.

— Шиш тебе, а не пачку, — ответил я. — На две скрутки наберу.

Рокин так обрадовался, что стало ясно — и на такой дар не надеялся.

В бараке в тот вечер творился очередной спектакль: разбушевался электрик Людмила. Вообще-то у него было и другое имя, ближе отвечавшее его «мужскому происхождению», но знали его только «придурки» из УРЧ — учетно-распределительной части. А сам Людмила давно примирился с женским прозвищем. Худой, подвижный, немногословный, он временами впадал в истерику, и тогда с ним мог справиться только дневальный Рокин — и справлялся не силой, а уговором: после короткой беседы с Рокиным ярость Людмилы превращалась в сонливость, он уже не выискивал повода для драк, не набрасывался на «встречных, продольных и поперечных», как формулировал его буйство тот же Рокин, а примащивался на нары — не обязательно свои — и сваливался в мутный сон. Приступы бешенства у Людмилы вспыхивали обычно после выпивки, выпивки с началом войны стали редки, зато буйство после них яростней и картинней.

— И часто это у вас? — с тоской поинтересовался новый сосед, показывая на бесновавшегося около стола Людмилу, тот стремился смахнуть со стола все миски с супом и разогнать всех ужинающих, а его в дюжину рук укрощали. «Всех завалю!» — надрывался Людмила, дико перекосив лицо, но за нож не хватался — буйство устраивалось по «среднему разряду».

Козырев продолжал:

— И ведь он может кого-нибудь поранить, он же подлинный сумасшедший.

— Не поранит, — сказал я. — Не тот «напой», хватил с полстакана, не больше. Колька его сейчас усовестит.

Рокин уже спешил к Людмиле, самая красочная часть пьяной истерики кончилась. Козырев, отвернувшись от стола, напомнил:

— Вы не ответили: часто это у вас?

— Раньше было чаще. В нашем бараке жили три бытовика с женскими именами и, вероятно, с женскими функциями: Варвара, Маша и Людмила. Все трое проиграли себя в карты, так началось их превращение в женщин. Варвару недавно освободили и послали на Фронт, Маша исчез, остался один Людмила — бесится за троих.

И я рассказал новому соседу, как меня самого поразили три парня с женскими именами, когда я поселился в этом бараке. Варвара был плотный мужчина с крепкими мускулами, работяга по влечению, а не по принуждению — в быту тихоня и скромница. Маша, двадцатилетний красавец, был истериком посильней Людмилы и так привык к своему женскому имени, что не отделял его от своего естества. «Маша, ты уже брилась?» — крикнул при мне один уголовник, возившийся с самобрейкой. И Маша громко ответил: «Вчера брилась, сегодня не буду». Зато впадая в истерику — и внешне беспричинную, не от вина, не от оскорбления, а на «пустом месте», — Маша выл и бушевал, дрался руками, ногами и зубами, и усмирялся лишь связанный. Машу любили в бараке, даже в драках его не избивали, а лишь валили и связывали простынями. И держали спеленутым, пока он не затихал и не просил воли. Не только близкие дружки, но и просто соседи с охотой угощали Машу — он был сластена — шоколадом и конфетами, если удавалось уворовать в пищевой каптерке или честно купить в лавочке.

— Отвратительно! — сказал Козырев. — Ненавижу мир мрази и плутовства. Не выйти ли нам погулять по зоне?

Мы гуляли до полуночи меж бараков, выбрались на бережок Угольного ручья, посидели в кустах, прислушиваясь к мирному бормотанью воды, быстро бегущей по склону Шмидтихи. Козырев показал на маленький домик повыше того места, где мы сидели, в нем одном не были освещены окна:

— Что там за учреждение?

— Хитрый домик, так его называют уголовники, — ответил я. — Резиденция оперуполномоченного. Канцелярия стукачей. В общем, цех по кустарной выработке липовых преступлений и отнюдь не липовых сроков. Дай нам бог, Николай Александрович, не попадать в обзор хозяев этого домика.

Так начались наши ежевечерние прогулки вдвоем по зоне, их прервали только грянувшие морозы — зима в тот год прибежала рано. Но и в холода, когда было ясно на небе, Козырев хоть на несколько минут выбирался наружу, и я сопровождал его. Он ненавидел наш барак. Он страдал оттого, что видел вокруг себя лица, на которые профессия разбоя и воровства ставила очень выразительную печать. Он не так даже удивлялся, как возмущался, что я сравнительно спокойно мирюсь с окружением. Ни он, ни я еще не подозревали, что мне предстоит забросить профессию физика и стать писателем. Но интерес к людям, даже потерявшим человеческое обличье, — во мне был неистребим.

Я не сдруживался с подонками и отребьем, но и не отвращал от них любопытствующих глаз. Козырев не понимал этого и сердился на меня. И если погода не способствовала прогулкам, он валился на койку и засыпал. Он даже не читал в бараке. Он не мог читать под мат соседей и рев «качающих права», то есть выясняющих взаимные отношения, а это совершалось ежедневно.

И когда задувала пурга, он не выходил наружу, как я ни упрашивал. Он не любил пурги, даже забитое тучами небо было ему нелюбо. Воздух, туманный от бешено несущегося снега, вызывал в нем отвращение. В пургу я старался хоть на короткое время, но выбраться наружу — испытать телом силу ветра. Он считал это бессмысленным пижонством. В небе он признавал только ясность. Вероятно, это происходило от того, что он не только по профессии был астрономом, но и по душе чувствовал себя сопричастным всему мирозданию, И когда исполинский звездный мир вдруг пропадал, а вокруг оставался лишь крохотный, нелепо ревущий клочок пространства, Козырев почти заболевал. И, как я уже говорил, сон становился ему единственным лекарством от хвори.

Что он астроном — и уже тогда известный, я узнал в первые дни соседства. Все было незаурядно в этом человеке, все свидетельствовало о природном таланте, обостренном воспитанием в интеллигентной семье, выдающимися учителями и великими книгами. Ему было всего двадцать лет, когда он с блеском закончил Ленинградский университет, в двадцать три года он стал профессором и видным ученым Пулковской обсерватории. А уже в двадцать шесть лет, в 1934 году, его имя стало ведомо всем астрономам мира — он разработал теорию протяженных звездных атмосфер и выяснил свойства излучения, создающегося в таких раскаленных атмосферах. Его теория вскоре была обобщена молодым индийско-американским физиком Чандрасекаром — и стала в научном мире называться теорией Козырева-Чандрасекара. Закончив изучение атмосфер, облекающих светила, Козырев перешел к исследованию самой знаменитой звезды, нашего Солнца, — его заинтересовала великая загадка солнечных пятен, он выяснял, какова глубина этих пятен, как они вступают в равновесие с солнечной атмосферой. И в разгар новых работ его постиг удар судьбы — арест.

— Меня посадил директор Пулковской обсерватории Герасимович, — сумрачно говорил Козырев в одну из первых прогулок по зоне. — Вот уж от кого не ожидал такого предательства... Впрочем, не предательства — клеветы. Вы что-нибудь слышали о Герасимовиче?

Я не только слышал о Герасимовиче, но и читал его книгу «Вселенная при свете теории относительности», В моей библиотеке эта книжка была из любимых — блестящая монография о великой теории Эйнштейна с позиции не физика, а астронома, даже философа. Герасимович так оригинально выстроил научный материал, столько увидел нового во всесторонне расписанном принципе относительности, что можно было только поражаться. И восхищаться.

— Да, Борис Петрович был человек блестящий, — печально подтвердил Козырев. — И в личном плане, и как ученый. Столько глубоких работ! Такая широта научных влечений! Вероятно, не было у нас другого астронома с таким спектром фундаментальных интересов. И солнце, и звезды, и космические лучи, и энергия в космосе, и история науки... Вы знаете, что его погубило? Почти четыре года проработал в Гарвардской обсерватории — и так его принимали, так ценили американские ученые!.. Естественно, его арестовали в первые же посадки и приписали шпионаж: что еще можно приписать крупному астроному, общавшемуся с иностранными учеными? И в тридцать седьмом расстреляли, а перед расстрелом заставили выдумать шпионскую организацию, он туда включил и меня, я ведь уже переписывался с иностранными учеными. Правда, за границей не бывал — это «учли», ограничились пятью годами тюремного заключения. Но, как видите, самим надоело держать меня в тюрьме, и выпроводили в Норильский лагерь.

— Но ведь Герасимович понимал, что расстрела ему не избежать, раз он столько лет провел в Америке. Он мог уйти в могилу, не стаскивая за собой вас, Николай Александрович.

— Вероятно, уже не мог, — задумчиво говорил Козырев. — Я много думал о нем и старался себе представить состояние Бориса Петровича. Крупный ученый исследователь звездного мира, никакой не политический деятель, и плевать ему, вероятно, на земные распри... А его топчут ногами, харкают в рожу — ты шпион, ты террорист, ты только прикидывался званием астронома, в душе жаждал одного — свалить советскую власть! Признавайся, гад, кто тебя поддерживал, кого сам завербовывал в преступную организацию!.. Он изнемог душевно и телесно от чудовищной лжи обвинения, от «допытных» методов... Думаю, так это было. Нет, он прямо не обвинил меня в антисоветских действиях, только причислил к своим сторонникам и помощникам. В смысле научном — это было верно. Но ведь наука следователей интересовала меньше всего...

— Пять лет ни за что ни про что! — негодовал я. — Астронома оторвали от звезд и впихнули в земную грязь. Кому и зачем это надо?

— Вас тоже оторвали от науки и впихнули в грязь, да на десять лет, а не на пять. Давайте поговорим о чем-либо более приятном.

Вскоре я узнал, что он не напрасно отводит разговор от сроков заключения. Настоящая дружба создается не вдруг. Еще не пришло для него время на полную откровенность. Я не возражал против тем приятней, чем доставшиеся нам сроки заключения. Я возвращал Козырева к его любимой науке — астрофизике. Я тоже увлекался этой наукой — как любитель, а не как знаток. Перед арестом я даже мечтал разработать тему «Физический смысл неевклидовых геометрий» — и собирал относящийся к теме материал. И в камерах срочных тюрем в Вологде и Соловках — больше двух лет пришлось в них просуществовать — я усердно и безуспешно выдумывал новую физическую геометрию космоса, так я выспренне называл свои научные потуги. И лишь окончательно убедившись, что физика мирового пространства мне не дается, забросил бесплодные попытки одолеть ее, Меньше всего я мог тогда догадываться, что все, не сделанное мной в науке, послужит неплохим фоном для фантастических романов, которые я впоследствии начну сочинять.

— Вы спрашиваете, что меня теперь занимает? — переспросил Козырев. — Знаете, одна проблема пока не набрала большой четкости, но скоро, уверен, станет самой кардинальной из всех астрофизических проблем.Откуда берется энергия звезд? Почему они горят, не сгорая? Все время думаю об этом.

И о жаре, заставляющем звезды светиться, он говорил,с таким душевным жаром, что и меня опаляло его вдохновение. Он вспоминал своих старых знакомых, ныне знаменитых ученых — Георгия Гамова, семь лет назад бежавшего за границу, ныне профессора в Штатах, Виктора Амбарцумяна, родившегося в один с ним год — ровно месяц отделяет их дни рождения, — в один с ним год закончившего Ленинградский университет и, как и он, ставшего в Пулковской обсерватории аспирантом академика Аристарха Аполлоновича Белопольского.

— Виктор пошел далеко, пойдет еще дальше. Но знаете, меня больше привлекает Гамов, Джордж, как он теперь именуется. Вот уж свободный ум! Однако я с ним не согласен. Гамов открыл туннельный эффект — отдельные частицы могут своеобразно преодолеть энергетические барьеры — так сказать, не перескочить поверх них, а проскользнуть сквозь. Впрочем, зачем я вам это говорю, вы ведь сами физик. Так вот, два замечательных физика, Аткинсон и Хоутерманс, использовали туннельный эффект Гамова для доказательства, что в звездах могут происходить ядерные реакции с гигантским выделением энергии.

— Что-то слыхал об этом, — сказал я без уверенности.

— Наверно, слыхали. Между прочим, Фриц Хоутерманс, очень левый, почти коммунист, еще до моего ареста переехал к нам, работал в Харьковском физико-техническом... Возможно, его тоже арестовали, все-таки немец, многих в Харькове брали, я слышал об этом в тюрьме. В Бутырках сидел и Лев Ландау, отличный физик, вы с ним не встречались там? Так вот, о Гамове... Впрочем, не о Гамове, а о дальнейшем развитии его теории. Недавно я слышал по радио, что в Америке немецкий эмигрант Ганс Бете создал теорию выгорания водорода в гелии внутри Солнца — и это он считает удовлетворительным объяснением, откуда берется энергия горения звезд. То есть она в превращении водорода в гелий. Без этой удивительной ядерной реакции — кстати, самой распространенной во Вселенной — Вселенная была бы мертва.

— Великолепная теория! Между прочим, нам иногда разрешают посещать — под конвоем, разумеется, научно-техническую библиотеку. Надо будет посмотреть последние журналы, там, наверное, есть и о теории Ганса Бете.

— Посмотрите. Только, знаете... Я не разделяю ваших восторгов по поводу ядерных реакций в звездах.

— Вы не согласны с этой теорией, Николай Александрович?

— Не то... Она, возможно верна. Но как бы вам сказать? Ее недостаточно. Моя мысль идет в другую сторону. Я бы поискал источник мировой энергии в неравномерном течении времени. Эйнштейн доказал, что реальное время во Вселенной нестабильно, зависит от скорости, от массы, от структуры пространства... Я бы пошел дальше. Время особый физический процесс, оно не может не влиять на рождение энергии.

— У вас готова разработка этой идеи?

Он вздохнул:

— Только идея. Постоянно думаю... Но готовые разработки... Нет, до них далеко.

Я вскоре стал догадываться, что мучает Козырева. Его несколько раз вызывали в «хитрый домик», однажды куда-то увели под конвоем из нашей зоны и несколько часов его не было. Николай Рокин, наш дневальный, одаренный способностью всепонимания и даже долей внефизического вездеприсутствия, сказал мне «по секрету»:

— Тянут твоего соседа на второй срок. Жмут беднягу.

«Параша» Рокина так встревожила меня, что я захотел объясниться с Козыревым. Он хмуро покачал головой:

— Неприятности есть, это верно. Но сейчас не время говорить о них. Подождем, пока определится обстановка.

Однажды утром Козырев не пошел на работу, а остался в зоне. Вечером он сидел на своей койке молчаливый, ужинать не пошел. На нем лица не было. Я сказал:

— Николай Александрович, не пора ли...

Он прервал меня:

— Хочу посоветоваться. Выйдем наружу, здесь слишком много глаз и ушей.

Мы снова ходили между бараками. И вероятно, впервые говорили не о звездах и не о загадках науки. Козырев как-то порадовался, что в отличие от своего расстрелянного шефа Бориса Герасимовича получил за преданность звездам довольно «божеский» срок — пять лет заключения. Можно было утешаться, что по условиям 37—38-го годов легко отделался. Но оказывается, те, кто арестовывал его, не считали, что он уже отделался от них. В его деле выискивают новые провины — грозят новым сроком.

— И оправдаться от новых обвинений невозможно? Сегодня же не тридцать седьмой год.

— Какое оправдание? Оправдываются, если есть вина. А если вины нет, только обвинение? Помните, как ответил Вольтер, когда его спросили, может ли он оправдаться в краже булочки ценой в два су, которой он и не видел? Он ответил: найму адвоката, истрачу десять тысяч франков и докажу, что был далеко от той булочки в два су. А если вас обвинят, что хотите украсть собор Нотр-Дам? Немедленно убегу из Парижа, ответил Вольтер, такое обвинение опровергнуть немыслимо.

— Вас тоже обвиняют в краже какого-нибудь собора?

— Еще хуже. Честно признаются в собственной оплошке — дали слишком малый срок за преступления, которых не было. За недоказанные преступления наказывают десятью годами, а не пятью, таков обычай. И пригрозили, что в будущем году вместо воли получу дополнительные пять лет. Но дело не только в этом.

— Что же еще, Николай Александрович?

— Мерзко говорить!.. Предложили стать информатором. В этом случае простят себе, что недодали мне срока заключения. И выйду я «по звонку», так они это формулируют. Потребовали, чтобы завтра дал окончательный ответ. Вот и думаю: как ответить?

Я засмеялся, хоть было не до смеха.

— Ничего вы не думаете, Николай Александрович. Если бы у вас было хоть малейшее колебание, как отвечать завтра, вы не заговорили бы со мной об этом. Вы уже приняли решение. Но почему именно вам они предложили идти в стукачи? Так непохоже на вас!

— Вот, вот, именно этим и обосновали предложение. Знаете, расчет по-своему умный. Во-первых, сказали, никто на вас не подумает, что вы информатор, — значит, не будут бояться откровенничать. А во-вторых, вы честный человек, ни на кого клеветать не захотите, личных счетов ни с кем сводить не станете. А нам так важно знать правду, мы так путаемся в бесконечной лжи, которой нас заваливают стукачи без стыда и без совести. Вы для нас своей порядочностью, своей правдивостью — истинный клад. Вам будем всецело доверять — вот так меня уговаривают.

— Иезуиты! — сказал я.

— Иезуиты, конечно. Вы считаете, что я прав?

— Будут, будут вам дополнительные страдания... Но в тысячу раз горше потерять уважение к себе. Вы выбираете правильный путь, Николай Александрович, для вас просто нет иного пути.

Мы еще поговорили и воротились в барак. Козырев скоро уснул, он так измучился, что уже не было сил на бодрствование. Я размышлял о том новом, что определилось в последние месяцы. Война уже не грозила быстрым поражением и не манила лживым видением быстрой победы. И паническое выискивание «притаившихся врагов народа», что так обрушилось на нас в первые месяцы войны, даже самые ретивые «третьеотдельцы» преодолели. И расстреляли Кордубайло, наглого организатора мифического повстанческого подполья в Норильске, и выпускали обратно в лагерь — с новыми сроками, естественно, — членов его несуществовавшей организации. Ошалелая «показуха бдительности» спала, лишь мутная пена еще держалась на поверхности. Теперь заключенные должны работать на войну, а не валяться на тюремных нарах. Наказывать требовалось уже не только для галочки бдительности, а — желательно — по реальной вине, этого требовали нужды войны. Да, ныне и третьему отделу понадобились новые информаторы — честные, правдивые, благородные... Боже мой, какая наивность! Неужели и вправду они надеются найти для бесчестного дела честных и благородных исполнителей?

Утром Козырев ушел на работу раньше меня, мы встретились поздно вечером. Он уже объявил свое решение — никаких тайных услуг от него не ждать, он не подходит для роли соглядатая и доносчика. Его спросили, знает ли он, чем это ему грозит, он ответил, что знает, но решения не изменит.

— Лютер говорил: «Здесь я стою, я не могу иначе».

— Вы не Лютер, но, как и он, не смогли преступить через требования совести, Николай Александрович.

— Разговор на этот раз был не в большом доме, а в хитром домике над ручьем. И во время беседы появился один лейтенантик — лицо тонкое, а речь путаная и малокультурная. Глуп не по облику. Какая-то противоестественная помесь человека с каракатицей. Он начал кричать на меня, на него на самого цыкнули. Теперь буду ждать, выполнят ли угрозу новых кар.

Козыреву вскоре объявили, что дело его пересмотрено. И по новому приговору он наказан не пятью годами заключения в тюрьме, а десятью годами лагерных работ. Место отбывания нового срока — Норильский исправительно-трудовой лагерь.

Козырев и раньше не жаловал нашего барака. В нем было много больше уголовников, чем он мог вынести. Но прежде утешала мысль, что в следующем году — на волю, терпеть недолго. Этого утешения уже не было. Мысль, что с такими людьми жить еще много лет, угнетала. Он теперь сам вытягивал меня на прогулки даже в скверные погоды. Однажды я процитировал ему Мандельштама: «Иосиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать». Он запротестовал:

— Не тоска! Отвращение! Совсем другое чувство, Я хотел бы переменить барак. Мечтаю поселиться у геологов. Там — культура: чистота, еду носит дневальный, не беги сам с миской. Ни мата, ни ссор, понятия этого гнусного — качать права — и в помине нет.

— Так попросите туда перевода. Может быть, разрешат. Особенно если сами геологи походатайствуют за вас.

— Уже пробовал. Геологи не возражают, лагерное начальство — ни в какую. Я теперь металлург, должен жить с металлургами. Они тоже в хороших условиях. Жить со строителями, землекопами или шахтерами — там хлебнешь горюшка. Вот так отвечают.

Все это было верно, конечно. Металлурги числились привилегированными в зоне. А геологи были лагерной аристократией. В их бараке, наверно, тоже имелись и бытовики, и даже уголовники, но они там терялись. В геологическом бараке господствовала интеллигенция: люди, общение с которыми доставляло душевную радость — профессора Владимир Катульский, Владимир Федоровский — в прошлом большевик с дооктябрьским стажем, создатель Минералогического института, не только ученый, но и поэт, первооткрыватель рудного Норильска и арктический исследователь Николай Урванцев, геологи Юрий Шейман, Омар Сулейменов, Владимир Домарев, Петр Фомин, Соколов, Мурахтанов — и еще с десяток специалистов, скрашивавших свое заключение тем, что были удостоены труда, каким занимались бы и на воле — труда по специальности, а не только для табели лагерного нарядчика. И в том бараке проживал наш общий с Козыревым друг, поэт и мыслитель, сын поэтов отца и матери, блестящий рассказчик и стилист... Впрочем, о нем я напишу отдельно, он этого заслуживает.

Страстное желание покинуть наш полублатной барак все больше томило Козырева.

— Почему бы вам не бросить опытный цех и не перейти на Большой металлургический завод? — обратился он ко мне однажды. — Я организовал там службу теплоконтроля, но какой я приборист! А все эти термопары, пирометры, газовый контроль — ваша же специальность, — вы там сделаете больше и лучше меня. А я переведусь к геологам и выпрошусь в экспедиционную партию, им нужен геодезист и астроном. Прошу — переходите на БМЗ!

Я задумался. Предложение Козырева было своевременно. Пришла пора расставаться с опытным цехом. Я проработал в нем три года — достаточно, чтобы даже стены надоели. Было еще две причины сменить место работы. Я ссорился с моим начальником Федором Кириенко. Он был удивительный человек, Федор Трифонович. Раб науки — именно раб ее, а не мастер, — он развернул исследования гидрометаллургических процессов. И радовался, когда новые факты подтверждали старые законы. Меня это не устраивало. Я жаждал опровержения, а не подтверждения законов. И мы разошлись, когда я восстал на книжные закономерности. Соли кобальта в растворе окисляют хлором, окисленный кобальт выпадает в осадок, осадок отфильтровывают. Такова была схема получения кобальта, очень нужного для промышленности и авиации металла — он потом был среди первых стратегических материалов, запрещенных для продажи в СССР. Все было хорошо у нас с Кириенко, пока я не стал доказывать, что кобальт раньше выпадает в осадок под действием щелочных окислителей, а уж осадок потом окисляется. Кириенко не стерпел такого научного самоуправства. Мы наговорили один другому резкостей. Дерзости от заключенного вольный начальник Федор Трифонович Кириенко стерпел, это было для него не так существенно. Но посягательства на табличные справочники не вынес. Сомнение в науке было ему нестерпимей политических провин. Я пригрозил, что улизну из опытного цеха, он пригрозил, что засадит меня в карцер за отлынивание от труда, то есть от исследований металлургических процессов точно по его программе.

Была еще одна причина уходить из опытного цеха, кроме ссоры с начальником. Работники этого цеха недоедали. Было вдоволь науки и ноль приработков. Наука наполняла мозговые извилины, но не желудок. С началом войны паек заключенного ссохся. Мы не опухали от голода, как, по слухам, бывало у вольных на «материке», но и не бывали сыты. Кириенко, живший одной наукой, и для себя не выпрашивал премий, и нам не «выбивал» дополнительных пайков, как делали другие начальники, особенно на Большом металлургическом заводе — самом сытом месте тогдашнего Норильска. Предложение Козырева означало переход в полусытость, если даже не в сытость полную, — очень существенное преимущество.

Но была и важная причина оставаться на ОМЦ, сознательно обрекая себя на скудость: я не хотел расставаться с дорогим мне человеком, моей сотрудницей. Поколебавшись, я ответил Козыреву отказом. Отказ сохранял свою крепость всего несколько дней. Скрыть неслужебные отношения не удалось. Моей сотруднице пригрозили, что она сменит вольное существование на жизнь заключенной в одной из лагерных зон Норильска, если срочно не покинет опытный цех. Узнав об этом, я сказал Козыреву:

— Согласен, Николай Александрович. Договаривайтесь со своим начальством.

Кириенко я ничего не раскрыл, но стал выходить на работу во вторую смену. Вечером и работать было спокойней, и меньше было чужих ушей и глаз. Кириенко знал, почему мне так дороги вечерние часы, но это его не тревожило. Он возмущался, лишь когда порочили законы физической химии и гидрометаллургии. Я приходил в барак ночью, Козырев спал — мне уже казалось, что он забыл о проекте служебных перемещений.

Но однажды на утреннем разводе Козырев разбудил меня. Я видел во сне концерт. Я сидел в большом зале Ленинградской филармонии и слушал Шопена. Музыка наполняла меня, рука Козырева, схватившая мое плечо, мешала. Не открывая глаз, я отмахнулся от него:

— Николай Александрович, музыка же... Еще несколько минут...

— Музыка? Какая музыка? — удивился он.

Я открыл глаза. В уши ворвался утренний шум стоголового барака, готовившегося на развод, — мат, крики, стук ложек, зычные призывы нарядчиков, выкликающие своих бригадников, — в общем, все то, чего я не слышал во сне. Из репродуктора, повешенного на столб в середине барака, лились негромкие звуки рояля и оркестра. Козырев на мгновение застыл, повернув лицо к музыке, которой не услышал в гаме развода. Спустя минуту из репродуктора донеслось:

— Мы передавали концерт Шопена для фортепьяно с оркестром.

— Удивительно! — воскликнул Козырев. — Мы одновременно слышали разные звуки — я барак, вы оркестр. Сергей Александрович, не выходите днем на работу в опытный цех. Вас сегодня доставят на беседу с начальством БМЗ — Николаем Дмитриевичем Кужелем и Александром Романовичем Беловым. В принципе все договорено.

Жизнь в заключении сделала очередной виток. Я говорил и с Кужелем и с Беловым. Они приняли мое предложение — создать при заводе большую лабораторию термоконтроля, выделили две комнаты для нее в обжиговом цехе. Уже на другой день приказом начальника Управления металлургических заводов Владимира Зверева меня перевели на промплощадку — три года прошло с той осени, когда я изнемогал, пробивая там ломом «крупноскелетную» вечную мерзлоту. И я ушел не один. Федор Исаакович Витенз, один из инженеров ОМЦ, согласился и на промплощадке работать вместе.

На исходе недели на новое место нашей работы явился разозленный Кириенко.

— Да вы с ума сошли, — сказал он. — Такие мы начали исследования! Вы понимаете, от чего отказываетесь? Что теряете?

— Понимаю, Федор Трифонович. Отказываюсь от ссор с вами в связи с разным толкованием физико-химических закономерностей. Отказываюсь от вечной нашей голодухи, потому что у вас приработков никаких, а здесь можно и кустарно что-нибудь сварганить на потребу вольных рабочих. С такими потерями я примирюсь.

— Я буду протестовать, — сказал он. — Я дойду до начальника комбината Александра Алексеевича Панюкова!

Я пожал плечами.

— Федор Трифонович, вы же умный человек. Вы серьезно думаете, что Панюков отменит приказ своего заместителя Зверева? Мне кажется, Зверев не из тех, кто разрешает поправлять себя. Впрочем, вы его лучше знаете, чем я.

Кириенко сердито смотрел на меня. Он боролся с собой — отступить или сделать еще одну попытку?

— Послушайте. — Он понизил голос: — Понимаю — скудный паек. Нам тоже не жирно, поверьте. Знаете что? Я буду передавать вам часть своего пайка, тайно, чтобы не пронюхали... А вы воротитесь в цех, и продолжим наши исследования... Столько раскрылось интересного!

Я часто злился на него, часто восхищался его бескорыстной преданностью исследованиям металлургических процессов. Сейчас я был растроган. У него была семья — прекрасной души жена Софья Николаевна, маленькая дочка, родители... Вряд ли семье хватало его пайка. Таких жертв — и щедрых, и небезопасных для него — нельзя,было принимать.

— Федор Трифонович, я ценю ваше отношение... Но дороги назад мне нет, вы должны это понимать.

Он повернулся и ушел не попрощавшись.

Козырев переехал в барак геологов и восторженно известил — наконец-то чувствует себя человеком, ибо среди настоящих людей, а не среди бандитов, закамуфлировавшихся в человекообразие. Он определился в поисковую партию и до зимы пропадал где-то в тундре — на вольном воздухе и на вольных хлебах.

А я на новом месте столкнулся с обстоятельствами, для понимания которых не было опыта. К лаборатории примыкал коттрель — система электрофильтров, улавливающих пыль из плавильных и обжиговых печей. На частичках пыли создавался электрический заряд, заряженные частицы прилипали к электродам, и, когда их налипало много, электроды обесточивались и пыль ссыпалась в бункера. В этой пыли, выносящейся из металлургических агрегатов, и никеля, и меди, и кобальта, а особенно платины и платиноидов было даже больше, чем в руде, поступавшей на завод: исправная работа электрофильтров гарантировала существенную прибавку товарной продукции завода.

Только ее не было — исправной работы электрофильтров. И вместо того, чтобы оседать на электродах — проволочках из нихрома, никель-хромового сплава, — дорогая пыль свободно разносилась по Норильской долине. А электроды разъедала кислота, ее было полно в газах, выносящихся из печей. И та же кислота разъедала стены электрофильтров, ядовитый газ вырывался сквозь щели и душил людей. Падала тяга — и печи сбрасывали нагрузку.

Начальство завода потребовало, чтобы я разобрался, почему образуется серная кислота и что сделать, чтобы ее больше не было. Создали техническую комиссию для исследования аварий на электрофильтрах, я стал секретарем комиссии. Белов вызвал меня в свой кабинет.

Требуйте всего, что нужно, но катастрофу с электрофильтрами — срочно ликвидировать! И учтите — наш оперуполномоченный, старший лейтенант Зеленский, заинтересовался электрофильтрами. Это опасно, вы меня понимаете?

Я понимал Александра Романовича Белова. Я уже видел старшего лейтенанта Зеленского, того самого, которого Козырев назвал противоестественной смесью каракатицы с человеком. В обжиговом цехе грейферный кран переносил какой-то груз по цеху. Внезапно отключилось энергопитание, кран раскрылся, груз рухнул на чугунные плиты пола. Питание отключалось часто — электростанция работала не на пределе, а за пределом возможного, бывали и похуже аварии, когда внезапно обесточивались линии. Я видел, как падал груз — никто не пострадал, ничто не повредилось, даже разъяренный крановщик материл небо и землю не громче обычной реакции на такое пустячное происшествие. И я находился в заводоуправлении, когда туда вошел оперуполномоченный Зеленский и схватился за телефон. Зеленский посмотрел на меня — не выйду ли? — но я не вышел, и он начал при мне разговор с каким-то своим начальником:

— Умышленное действие на грейхверном кране, — сказал он хрипловатым сдавленным голосом с сильным южным акцентом. Такими приглушенными, полными важного предупреждения голосами говорят, информируя о чрезвычайных происшествиях, которые, однако, не должны стать известны. — Принимаю меры дальнейшего пресечения.

Он говорил, а я рассматривал его. Он был невысок, строен, чуть прихрамывал при быстрой ходьбе. У него было тонкое лицо, узкие щеки, точеный нос — лицо интеллигента. А голос был груб и некультурен, голос не вязался с лицом и фигурой. Если бы я услышал такой голос из соседней комнаты, не видя его хозяина, я вообразил бы себе совсем другого человека — высокого, плотного, крупнощекого, с бесформенным носом, насквозь прокуренного (Зеленский не курил)... Думаю, у человека, с каким разговаривал Зеленский, имелись сведения о кратковременной аварии, на электростанции — и он отнюдь не связывал ее с «умышленными действиями на грейхверном кране». Лицо Зеленского вытянулось, сдавленный от возбуждения голос как бы механически распрямился. — Понял, буду информировать.

Исследование неполадок быстро раскрыло причины аварии на электрофильтрах. Строители плохо выложили стенки коттреля. Война требовала никеля, завод пускали в страшной спешке — было не до аккуратной работы. Летом все шло благополучно, но холода стерли радужную картину, сквозь щели в стенах врывался ледяной воздух, температура газа падала с 300—350 градусов до 200—250. А при такой температуре серный газ, обильно поставляемый печами, легко соединяется с парами воды — в серную кислоту. Кислота же разъедала электроды и механизмы. Вывод был прост: заделать стены, утеплить газоходы — и все неполадки кончатся. Я писал протоколы комиссии, начальник комбината генерал Панюков подписал приказ, и строители кинулись усердно — с энтузиазмом, как отметили в газете, — исправлять то, что сами недавно напортачили.

Оперуполномоченный Зеленский только и дожидался такого поворота событий. Картина аварии была ясна, оставалось решить, кого арестовывать.

Один за другим строители и работники завода вызывались к Зеленскому. По технической логике события он должен был начать вызовы на «собеседования» с меня, расследовавшего аварию, но он меня не тревожил. Ко мне приходили строители, конвертерщики, ватержакетчики, обжиговщики — все заключенные, естественно. И жаловались, что Зеленский вымогает признания, что именно их плохая работа стала причиной превращения серного газа в серную кислоту и осаждения капелек серной кислоты на механизмы.

— Одного срока не отсидел, навешивают другой, — жаловался Либин, единственный в Норильске специалист по электрофильтрам. — От вашего заключения зависит, удастся ли нам отделаться от этого мозгляка Зеленского, вы появились на заводе недавно и за аварию не отвечаете. Выскажите свое мнение.

— Я уже свое мнение высказал. Оно в написанном мной отчете об аварии, а также в приказе начальника комбината.

— Не отступайтесь от этого. Пожалуйста, не отступайтесь!

Зеленский вызвал меня последним. И не в ту комнатушку на заводе, где он принимал свою «клиентуру», а в главную свою резиденцию — в «хитрый домик над ручьем», разместившийся на окраине лагерной зоны. В барак после вечернего развода прибежал встревоженный нарядчик.

— Тебя в десять вечера ждет оперуполномоченный, — сказал он, понизив голос. Вызов к оперуполномоченному радости не сулил — нарядчик, неплохой парень из мелких уголовников, понимал, что на меня будут что-то «навешивать». — Так что готовься!

— Готовься! — это же самое повторил Витенз, заменивший Козырева на соседней койке. — И сдержись! Ты можешь всякого в ярости наговорить, этого не надо — он будет мстить. И если я засну, разбуди, когда вернешься. Но я не засну, я буду тебя ждать.

Зеленский знал, как воздействовать на неустойчивую психику людей, вызываемых на «собеседование».

Он сознательно допрашивал меня последним, а не первым. И, пригласив на десять вечера, продержал до одиннадцати, когда вызвал к себе. Он был один в своем кабинете, ни книг, ни газет у него не было — просто сидел за столом и муторно ожидал, пока я дойду до изнеможения, до того накала и перегара, когда намеченную жертву можно брать голыми руками. Методы были слишком дешевыми, чтобы действовать. Следователь с двумя ромбами в петлицах, полгода мучивший меня на Лубянке, был гораздо умней, чем этот человечишко с хриплым заплетающимся голоском и лейтенантскими звездочками на погонах.

— Давно нам надо было побеседовать, — сказал он так, словно приглашал взаимно порадоваться, что встреча наконец состоялась. — Вы, конечно, знаете, почему я вас вызвал?

— Скажете, узнаю, гражданин уполномоченный!

Он озадаченно посмотрел на меня. Ему не понравился мой голос. Он продолжал развивать задуманный план разговора.

— Понимаю, знаете. Нехорошее, очень нехорошее дело — электрофильтры. Страна так нуждается в никеле. Вы ведь знаете, что никель идет на танки и на орудия! И такие аварии в технологическом процессе! Очень нехорошо, правда?

— Очень нехорошо. Что вообще хорошего в любой аварии?

— Я знал, что вы согласитесь со мной. Любая авария — плохо, а эта — особенно. Весь же технологический процесс затронула скверная тяга в газоходах! Я верно излагаю события?

— Совершенно верно, гражданин уполномоченный!

— Тогда пойдем дальше. Раз произошла авария, значит, на то были причины. Так сказать, виновники несчастья. Вы согласны со мной?

— Полностью согласен. Зеленский придвинул к себе бумагу и карандаш.

— Поговорим теперь о конкретных виновниках. Кто, по-вашему, больше всех отвечает за нарушения технологического процесса?

— Не кто, а что, гражданин уполномоченный. Он удивился. — Как вас понимать?

— В самом простом смысле. Соединились в узел нехорошие объективные обстоятельства. Грянули морозы и оледенили газопроводы. Сильная пурга выносила все тепло из стен. В результате температура газа упала и сконденсировалась серная кислота. А кислота, как известно...

Он раздраженно прервал меня:

— Я читал приказ Панюкова о ликвидации аварии на электрофильтрах. Незачем повторять это.

Я постарался придать своему лицу самое глупое выражение.

— Но ведь в этом приказе очень точное объяснение, очень исчерпывающее. Я не осмелюсь ни дополнять, ни исправлять решения начальника комбината. Кто я, и кто генерал Панюков?

Он вышел из себя. Он решительно не годился на ту непростую роль, которую взялся выполнять.

— Что вы мне суете в нос генерала Панюкова? Он генерал, пока выполняет свои обязанности как положено! Уже не одного генерала — и повыше Панюкова — мы брали, когда они забывались... Отвечайте — будете нам помогать?

— Не понял, гражданин уполномоченный... В смысле — против начальника комбината?

Он сдержал раздражение. Он еще не был уверен, точно ли я так глуп, каким кажусь. И старался снова говорить спокойно.

— Оставим в покое Александра Алексеевича Панюкова. Он на своем месте, вы на своем. Будете ли помогать нам разоблачать скрытых врагов советской власти, которые своими тайными кознями чуть не сорвали работу оборонного завода?

Я понял, что пора расставлять все знаки препинания в невразумительном тексте.

— Безусловно буду, гражданин уполномоченный. Для этого нужно только одно — чтобы я увидел этих врагов советской власти. Но я полностью согласен с приказом начальника комбината, что не скрытые враги, а жестокие морозы, свирепые пурги...

Он встал. Он понял: из меня не выжать того, что ему желалось.

— Идите. И можете быть уверены, у вас не будет оснований жаловаться на то, что к вам относятся хуже, чем вы того заслуживаете.

— Благодарю вас, гражданин уполномоченный, на добром слове, — сказал я смиренно.

Витенз еще не спал. Он с тревогой смотрел на меня. Меня трясло, я не мог побороть возбуждения.

— Все в порядке, — ответил я на немой вопрос друга. — У меня теперь не будет оснований жаловаться на него, так он сказал. Думаю, мне, как Козыреву, навесят новый срок за то, что не оправдал их ожиданий.

— Глупости, — сказал Федор. — У Козырева было всего пять, довесить пятерку — проще простого. А ты уже имеешь десятку. Добавить сверх нее и для третьего отдела непросто, нужно заводить новое дело. Он тебя оставит в покое, уверен в — этом.

Нового срока мне не навесили, но и оставить меня в покое Зеленский не пожелал — об этом в следующей главке.

Очень неполным будет мое повествование, если не расскажу о дальнейшей судьбе Николая Александровича Козырева.

Он все же не досидел «до звонка» навешенного ему второго срока. Обстановка в стране хоть и медленно, но теплела. Сохранились друзья и знакомые, высказавшие сомнение — может ли специалист по звездам стать профессиональным шпионом? В сорок четвертом году Козырева вызвали на переследствие и, продержав несколько месяцев в Бутырках, выпустили на волю. Он говорил мне, что использовал свое вторичное пребывание в тюрьме для усовершенствования гипотезы рождения энергии из неравномерного тока времени.

Еще тридцать лет после освобождения он плодотворно трудился в экспериментальной и теоретической астрономии — сделал важные открытия в физике Венеры, Юпитера и Меркурия. И главным его достижением, вызвавшим всеобщее волнение в астрономическом мире, стало открытие вулканизма на Луне, издавна причисленной к абсолютно мертвым небесным телам. В 1958 году, изучая большой рефлектор Крымской обсерватории, он сфотографировал лунный кратер Альфонс и обнаружил вулканические выходы водорода из центральной горки кратера. За эту и другие выдающиеся работы Международное общество астрономов наградило Козырева Большой золотой медалью.

А работы по новой теории физического времени, как главного источника космической энергии, Козырев не закончил. Он оборудовал в Пулкове специальную лабораторию для экспериментов с энерговременем. Я был в этой лаборатории. Она производила впечатление довольно кустарного учреждения, мало приспособленного для тех тонких и тончайших экспериментов, какие требовались. Идеи Козырева так радикально разрушали все привычные представления о физике времени и природе энергии, что признанные ученые их отвергали «с порога», не тратя времени на аргументацию. В печати несколько академиков — не хочется называть их фамилий — грубо отозвались об уже проделанных Козыревым экспериментах — только на том основании, что эксперименты им не нравились своей целеустремленностью. Пулковское начальство учитывало отрицательное отношение официальной науки к астрофизическим воззрениям Козырева — и не отпускало средств на расширение его лаборатории. Между тем в ней были найдены интересные явления, нащупаны схемы еще неизвестных закономерностей — но не было материальных возможностей довести исследования до конца. До самой смерти Козырева в 1983 году мы с ним переписывались и встречались и у него в Ленинграде, и у меня в Калининграде. Неприязнь официальной науки к его теоретическим концепциям его расстраивала, но не обескураживала. Он не прекращал исследований. И они становились все глубже и шире, постепенно превращались из чисто астрофизических в общефилософские. Основанная им лаборатория продолжает работать и после его кончины, хотя и не привлекает к себе почетного внимания. И если она подтвердит предсказанные Козыревым закономерности, если энергетическая природа времени будет экспериментально доказана, совершится один из самых замечательных в истории науки переворотов. И тогда станет ясно, что в Козыреве мы потеряли не только замечательного астронома, но и великого мыслителя. И еще одно узнают все: мало с кем судьба поступила так несправедливо, как с ним. Лучшие годы жизни несправедливо лишала величайшего человеческого блага — элементарной свободы существования, а потом, вернувшегося на свободу, столь же несправедливо лишила научного внимания, окружила холодной атмосферой превентивного неприятия, равнозначного примитивному непониманию.